

ВСТУПЛЕНИЕ

*Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.*

Анна Ахматова. 1961

На Западе нередко сталкиваешься с полным отрицанием того, чем жила интеллигенция Советского Союза на протяжении почти шестидесяти лет, — всей созданной ею гуманитарной науки и литературы, всех ее поисков, если только они не носят явно оппозиционного характера. Некоторые из наиболее радикальных «заграничных русских» закрывают глаза на интеллектуальную жизнь советской страны, стараясь вообще ее не видеть, словно этих шести десятилетий и вовсе не было или словно в течение всего этого исторического периода имело место только одно: насилие партийно-государственной власти над умами и душами граждан. Это — вульгаризация, а значит искажение реальности, ведущее к ложным выводам и логическим тупикам. Российская культура пробивала себе дорогу, одолевая преграды, которые воздвигли на ее пути гасители мысли, разрушители поэзии, душители театра, живописи, музыки. Скажу больше: борясь за право дышать и жить, культура крепла. Этот процесс заслуживает изучения — оно едва началось.

Официальная история изображает путь нашей культуры как однонаправленный и триумфальный. Когда читаешь что-нибудь вроде «Истории русской советской литературы» 1974 года (под редакцией П. С. Выходцева, М., «Высшая школа»), то кажется, будто сознательно провоцируется негодование осведомленных читателей. «Социалистическое все более становится самим воздухом поэзии и органическим качеством духовного мира нового человека, выразителями которого осознавали себя новые поэты... В камерную лирику А. Ахматовой, главным образом через воспоминания о

прошлом, начинает просачиваться мысль о необходимости *снова научиться жить*, о ценности активно-жизненного искусства („И упало каменное слово“...)» (с. 306–307). Всё тут, в этой характеристике поэзии 30-х годов, движется «вперед и выше», и каждое слово — ложь. Характерно, с какой пошлой примитивностью делается фальсификация: «Надо снова научиться жить» — строка из «Реквиема», куда входит стихотворение; «ценность активно-жизненного искусства» тут ни при чем: у Анны Ахматовой речь идет о приговоре по делу ее сына Льва — это и есть «каменное слово», и стихотворение даже называется «Приговор» (1939) — ей *надо снова научиться жить* одной, без сына:

И упало каменное слово
На мою еще живую грудь.
Ничего, ведь я была готова,
Справлюсь с этим как-нибудь.

У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить, —

А не то... Горячий шелест лета,
Словно праздник за моим окном.
Я давно предчувствовала этот
Светлый день и опустелый дом.

Я цитировал новейший университетский учебник, — а ведь в 1974 году его издатели могли бы догадаться, что время безнаказанных фальшивок миновало, что их, фальсификаторов, непременно схватят за руку.

Такова одна сторона. Восточная.

Но есть и другая. Западная.

С этой другой стороны советская литература трактуется в противоположном и, увы, не менее ложном освещении. Об Анне Ахматовой в западных работах можно прочесть, что она изначально была внутренним эмигрантом, что жила она в Советской России, отделяя себя от окружающего и от людей, ища уединения, несоприкосновения с реальностью, обществом. И это — неправда. Менее броская, чем прямое мошенничество Выходцева, но тоже — искажение. Анна Ахматова сделала в 1917 году признание — в знаменитом стихотворении «Когда в тоске самоубийства...». Ей слышится сатанинский голос, *утешно* зовущий:

«... Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».

Почему *черный стыд*? Не было же на Ахматовой вины за кровь, лившуюся в революционной России, никого она не убивала. Это, как мне кажется, и есть высокая, да и единственно возможная позиция поэта, ответственного за свой народ, за все, что случилось с ним и что делает он. Сорок пять лет спустя Анна Ахматова могла гордо произнести слова, вынесенные мною в эпиграф.

Это не внутренняя эмиграция, а соучастие. Со-ответственность.

Вот и автор этих строк несет ответственность за все, чему был свидетелем и в чем участвовал. Он не может стоять в стороне и, поглядывая на оставленную страну, со злорадством писать о бедствиях и преступлениях. Злорадство — удел посторонних.

Стыд — тот самый *черный стыд*, о котором сказала Ахматова, — это чувство, предполагающее сопричастность. Я и мои сверстники рано и остро ощутили его. До войны и много лет после нее все мы жили в коммунальных квартирах, где на кухне возле керосинок и примусов толклись хмурые хозяйки — у каждой был свой, отдельный электросчетчик, свой звонок перед входной дверью («К Романовым — 6 звонков», «К Лурье — два длинных и три коротких»), свое сиденье в уборной. Но не кухни меня удручали, а запрет приглашать иностранцев. «Примите ваших знакомых в ресторане, — советовали в Союзе писателей, — в коммунальную квартиру их звать нельзя». Почему же, собственно, нельзя? Как живем, так и живем. Чего нам бояться? Кто нас осудит? Нельзя. Иностранцам нельзя видеть наш быт. Каждый раз, когда я сталкивался с этим «нельзя», меня охватывал стыд.

Знает ли читатель, что такое — «показуха»?

В Советском Союзе есть автомобильные шоссе, разрешенные для иностранцев. Они покрыты гладким асфальтом. По обе стороны от них — нарядные домики, окруженные палисадниками с клумбами, киоски с цветастыми матрешками. Позади кустов — проселочная дорога, утопающая в лужах. Там пестрых киосков нет, разве что случайный сельмаг с хлебом и водкой. Сельмага иностранцы не увидят, в грязи не застрянут, и доедут они до гостиницы, не нарушив привычки к комфорту. В «Астории» для них все приготовлено — лишь бы они не столкнулись с реальностью; даже магазин «Березка», где в изобилии на иностранную валюту — отборные товары. Вокруг

гостиницы все очень красиво и торговля приятная — иностранцы далеко не ходят, в пределах же их пеших прогулок обдуманно все. В мясной лавке за два квартала отсюда мяса нет, зато здесь — богатые магазины с никому не нужными, но импозантными телевизорами и старинным фарфором.

Это — «показуха».

Она во всем... Советский Союз демонстрирует себя иностранцам, построив фанерные макеты и разругавшись театральная помадой.

Каждый раз, видя «показуху», я испытывал горчайший стыд. Словно это обманываю я — ну, скажем, скрываю от любимой женщины, что на мне парик, а под париком плешь.

На улице, где мы жили в Ленинграде, росли небольшие липы — они создавали уют и прелесть довольно-таки неказистого, пыльного проезда, превращая его в тенистый маленький бульвар. Однажды утром я увидел самосвал, увозивший последние из наших липок, — следом за самосвалом уехал и экскаватор, их корчевавший. Я остолбенел: кому понадобились эти деревья? Позднее выяснилось, что через два дня в Ленинград приезжает Никсон, и вот на одной из улиц, по которой пролегал его маршрут, надо было навести красоту — туда липки и увезли. Дело было в мае; деревья потом засохли. Но глаз президента скользил не по пустырю, а по зеленым кронам. А на других улицах по его движению дома помыли и даже покрасили — всюду только первый этаж: выходить-то он не станет, а из машины виден только первый этаж.

И это — показуха, на сей раз народ назвал ее «Книксон».

И это — внушало мне стыд.

В конце войны советские войска вошли в Европу, и я прошел с нашей армией через Румынию, Венгрию, Австрию, Болгарию. Какое счастье, какую гордость испытывал каждый из нас, офицеров армии, победившей фашизм! Как любили нас, как рады были нам румынки и болгарки, бежавшие навстречу нашим танкам с цветами! Я был счастлив и горд, потому что это мы победили нацистов, это мы освободили наших друзей. А когда воины-освободители, нахлебавшись до безумия молодого вина, врывались в часовой магазин и набивали мешок часами, так что весь огромный мешок шевелился и тикал, как живой, — я испытывал мучительный стыд, я не мог смотреть в глаза тем румынам, с которыми вчера обнимался. Потому что освобождали — мы, и грабили — мы.

И когда войска стран Варшавского пакта вступили в Чехословакию, я понял моих пражских и брноских друзей, переставших мне писать и отвечать на письма: они считали меня ответственным за оккупацию. Ближе всего мне были пронзительные строки А. Твардовского, ходившие по рукам:

Что делать мне с тобой, моя присяга?
Где взять слова, чтоб рассказать о том,
Как в сорок пятом нас встречала Прага
И как встречала в шестьдесят восьмом?

Не забуду патетических строк другого советского поэта,* которые родились после двадцатого съезда и тоже проникнуты трагизмом соучастия:

Мы все — лауреаты премий,
Врученных в честь него,
Спокойно шедшие сквозь время,
Которое мертво.

Мы все — его однополчане,
Молчавшие, когда
Росла из нашего молчанья
Народная беда;

Таившиеся друг от друга,
Не спавшие ночей,
Когда из нашего же круга
Он делал палачей;

Для статуй вырывшие тонны
Всех каменных пород,
Залившие людские стоны
Водой хвалебных од;

Глашатаи высоких, добрых
И вечных аксиом, —
За кровь Лубянки, темень в ДОПРах
Ответственность несем.

Пускай нас переметит правнук
Презрением своим,
Всех одинаково, как равных —
Мы сраму не таим.

Да, очевидность этих истин
Воистину проста.
Но не мертвец нам ненавистен,
А наша слепота.

* Павла Антокольского. — Прим. ред. (Примечания автора к первому изданию в дальнейшем особо не оговариваются)

Они и мы... Поймут ли на Западе, как трудно, как иногда невысказанно противопоставить друг другу эти местоимения? В странах западных демократий существуют политические партии, и члены одной говорят про других: «они». Или левые говорят о правых: «они». Или молодые о старших. Или христиане об атеистах. Все отчетливо и обозримо. Мой коллега Н. — член социалистической партии, потому что он убежденный социалист, а не потому, что кто-нибудь его заставил поступать в нее; партия не сулит ему ни выгод, ни неприятностей. Он остается самим собой; разочаровавшись в социалистических идеалах, он, может быть, выйдет из партии, а может быть, вступит в другую. У каждого — своя газета, свой круг, свой клуб. У нас все иначе, и люди Запада понимают это с трудом.

Вот перед вами человек с партийным билетом КПСС. Кто он? Относится он к «ним» или к «нам» (безразлично, с какой позиции употреблять эти местоимения)?

Может быть, он старый ленинец, с наивной твердостью верящий в идеалы семнадцатого года? Может быть, солдат антифашистской войны, вступивший в партию в год Сталинградской битвы, когда всех объединял единый порыв и единая вера в более справедливое будущее? Может быть, карьерист и проходимец, ищущий легких путей для преуспевания? Может быть, он, слабый и беспринципный, дал себя запугать? Может быть, он политический идеалист, убежденный в том, что честные люди должны массами вступать в партию, чтобы обновить ее состав и облагородить руководство? Может быть — простодушный конформист, который принимает за чистую монету все, что говорит ему радио и что пишет «Правда»? А может быть, скептик, давно разуверившийся в былых иллюзиях, но обреченный носить свой партийный билет либо вечно, либо пока его еретические взгляды не прорвутся наружу и не дадут повода для изгнания? Выйти из партии нельзя: такой поступок равен либо гражданскому самоубийству, либо заявлению о выезде из страны. И, конечно, каждый член КПСС несет ответственность за все, что делает его партия, и даже за все, что пишут ее, этой партии, газеты. Он несет ответственность даже в том случае, если сам не участвует ни в чем, и даже если не знает ни о чем. И не только потому, что в его кармане лежит красная книжечка; как член партии, он обязан подчиняться закону «демократического централизма»: отстаивать решение, принятое (пусть против его воли) большинством, под каким бы внешним прессом это решение ни принималось. Каждому писательскому собранию предшествует партийное; там еще можно робко высказать собственное мнение, но потом, на общем собрании с участием беспартийных, всякий коммунист обязан (под страхом исключения!) отстаивать партийную, там выработанную позицию. Он уже не

личность, а винтик механизма. И он, относящийся к «нам», волей-неволей становится — «они». Член партии редко соглашается на бунт. Его покорность можно осуждать и даже ею возмущаться, но миллионы и миллионы таких вынужденных покорностей — это реальный факт, который игнорировать нельзя и который одновременно и драма, и вина. Партия — это всемогущая церковь, а много ли бывало еретиков?

Беспартийные в Советском Союзе неизбежно тоже становятся участниками дьявольской круговой поруки — если только они хотят делать свое дело, а не смотреть со стороны. Можно ли их осуждать за это? Врачи — лечат, композиторы — сочиняют музыку, журналисты — пишут статьи, учителя — обучают, инженеры — выполняют план. Люди добросовестные стараются делать свое дело как можно честнее; они творят культуру своей страны, нередко задыхаясь в безвоздушном пространстве и содрогаясь от негодования, приходя в ужас от навязанного обществу лицемерия и от сознания собственной безнравственности. Лишь немногие становятся в ряды открытой оппозиции — буквально единицы из двухсотпятидесятипятимиллионного народа. Потому что — во имя чего? Мало кто верит в то, что слабые силы одиночек изменят строй. Мало таких, кто видит нравственный смысл в отъезде за границу, в решении, которое принимаешь лично для себя, отделяя свою судьбу от судьбы страны и общества. Мало героев, согласных уплатить несколькими годами в каторжном лагере за правдивое слово или смелый поступок.

Они — и мы... Насколько легче жить при такой поляризации! И как трудно — при нерасчлененном, диффузном, непроявленном обществе, когда среди *нас* так много *их*, а среди *них* так много *нас*.

Эта книга написана на Западе, когда я был уже *под чуждым небосводом*, и даже *под защитой чуждых крыл*. Я мог позволить себе рассказать многое, чему был свидетелем и чего оказался жертвой. И все же я смотрю на события, происходившие в Советском Союзе, не извне, а изнутри, и рассказываю обо всем не для того, чтобы обвинять мою страну. Она моя, и другой у меня нет.